



100 ЛЕТ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Ф. И. ШАЛЯПИНА

«Такие люди, каков он, являются для того, чтобы напомнить всем нам: вот как силен, красив, талантлив русский народ!»

М. ГОРЬКИЙ

ЦАРЬ-БАС

Автор предлагаемых вниманию читателей заметок о Федоре Ивановиче Шалыпине неизвестен. Выписки из его дневников хранятся в одном из фондов ЦГАЛИ. И хотя об искусстве Шалыпина проанесены и написаны многие тысячи восторженных слов, записи современника, без сомнения сделанные сразу же после спектаклей, и сегодня подкупают непосредственностью впечатлений, передают ту праздничную атмосферу творчества великого артиста, которая сопутствовала ему на протяжении всей жизни.

ФАУСТ. ТЕАТР ЗИМИНА

Шалыпин появился очень эффектно, в черном плаще, озаренный красным светом. Голос звучал хорошо. Куплеты второго действия спел великолепно, но были нотки не совсем звучные, а наряду с этим давал вдруг полный красивый звук. Когда вступает хор, он им дирижирует, захватывая рампу в свою власть.

Заклинание цветов он начал вполголоса, потом перебежал на другую сторону сцены, и «О, ночь, одень ты их своим покровом...» зазвучало уже в полную. Озаренный красным светом, с нечеловеческим лицом, он имел вид действительно дьявола. При словах «А вы, цветы...» он как-то влез в цветы и как будто повис в воздухе. Последнее же слово «сердце» было такой густоты и красоты, что трудно описать.

Четвертое действие, сцена у церкви, прошло как-то малозвучно. Шалыпин закрывал свое лицо при звуках церковного хора и имел вид бредового призрака, кошмара Маргариты. В серенаду вложил столько экспрессии, что его фраза «спаслась» — была поистине сатанинской. Фигура, лицо, жесты, интонации — все сатанинское. Голос он может применять всячески, но, видимо, бережет и зря во всю не дает. Например, «Спустилась ночь» было совсем не сильно (но очень просто и естественно, видно, что прибегает к силе к концу — вот то знаменитое распределение звучности). Благодаря этому получаются удивительные эффекты...

БОРИС ГОДУНОВ. ЗИМА 1913—1914 ГОДА. БОЛЬШОЙ ТЕАТР

Выход Шалыпина был неподражаем. Он шел с неподвижным корпусом и головой. Видно было, что это царь, выполняющий древний обычай серьезно, с благоговением и царственным достоинством. Он достиг того, чего так долго дождался.

Слова «Как буря, смерть уносит жениха» он исполнил forte, что было очень эффектно. Остальное он пел тихо и замечательно душевно. Игра поразительна. Предсмертная ария — вершина всего. Его поза на коленях, когда он, умирающий, молится с всклокоченной бородой и волосами, в царской одежде, но без барма — с голыйшей, была показателем его гения.

Его игра необычайно эффектна и вместе с тем жизненна: нет ни одного театрального движения, а вместе с тем каждый шаг красота. Гениальность в том, что он соединяет правду и будничность жизни с красотой.

«Шалыпинский жест». Это не жест, который можно встретить в каждой опере, какую он исполняет (как у Собинова или Баттистини — их сразу можно узнать в любой опере по жестам), — это жест, который Шалыпин делает только в одной опере. Шалыпин падает, умирая, так живо и так красиво вместе с тем. Но эта красота не лезет в глаза: это трагизм момента, красоту вы замечаете потом.

ДОН КИХОТ. СЕЗОН 1913—1914 ГОДА. БОЛЬШОЙ ТЕАТР

Занавес открывается при шумной «испанской» музыке. В музыке далекие шаги Россинанта. Шумная музыка, крики толпы, гром аплодисментов — появляется Шалыпин верхом (контрастом маленький Санчо на осле). Вид у него торжественный. Когда он пел, лошадь под ним плясала, но на голос его это не влияло — даже и тогда, когда он ликовал ударил лошадь. Он слез с лошади (не переставая петь). Стеннело, народ стал расходиться. Шалыпин стал у балкона и запел piano и pianissimo серенаду.

...II картина. Шалыпин ползет по следу разбойников... «Санчо, их больше чем двести», — восклицает он и бросается в бой. Во всех движениях горделивое сознание исполненного долга, рыцарственность, бесстрашие и вместе старческая жалость, от которой щиплет в горле и слезы навертываются на глаза.

В каждом движении Шалыпина — образ мечтателя, не обращающего внимания на обиды во имя любви к людям.

...IV действие. Дерево, за которым стоит умирающий Дон Кихот (уже без лат), длинная морщинистая шея. Его вид трогает до слез. Он заставляет Санчо читать молитву, рыжая физиономия последнего великолепно контрастирует, он плачет о своем господине. Шалыпин вспоминает, что обещал подарить Санчо остров. Санчо, плача, говорит: «Мне бы островочек...» Но Дон Кихот может подарить ему только «остров мечтаний» — отраду своей жизни. В бреду Дон Кихот слышит ее голос. И вот он снова герой и поет бравадно с копьем в руке — и вдруг падает.

...От игры Шалыпина — огромное по силе впечатление, тонкость рисовки образа потрясающая. Полное перевоплощение в рыцаря печального образа (нежная душа, величественность и жалость).

...О Шалыпине в Москве говорят: «У нас три чуда: царь-пушка, царь-колокол, царь-бас».



Ф. Шалыпин в ролях: Фауста, Олоферна, Годунова.



НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ

Отрывок из неопубликованных воспоминаний Н. Г. Шебуева (1874—1937) — писателя и художника. Шебуев нередко гостил в Абрамцево — аксаковской усадьбе, которую приобрел Савва Иванович Мамонтов, промышленник, покровитель искусства. Его гостями часто бывали братья Васнецовы, братья Коровины, Серов, Репин, Врубель, брат и сестра Ползеньковы. Некоторые художники жили у него месяцами. Нередко приезжал в Абрамцево и Шалыпин.

Я приезжал сюда в гости к С. И. Мамонтову с Ф. И. Шалыпиным. Давным-давно это было. Как приехали, так и затопились: на реку — рыбную. Самым страстным любителем этого невинного спорта был К. А. Коровин. Вот и сегодня он священнодействует: замер, зорко уставившись взором в плававшую рыбу.

Братья Васнецовы удили меланхолично, близоруко. Рыба у них не клевалась. Зато сами они клевали носом. Того и гляди заснут.

Врубель брезговал собственноручно насаживать червяка. Ждал, когда ему Коровин насадит.

Серов голым ложился на траву. «Я, братцы, пузо себе попарю!»

Шалыпин голос пробует.

— Что ты, Федька! Рыбу спужнешь! — возмущался Коровин.

— Тоже рыбари! — скорчит презрительную гримасу Шалыпин. — Да откуда здесь рыба?!

— Здесь сам Аксаков ужинал и знаменитые «Записки об ужине» писал? Читал?

— Вот уж когда ты свои «Записки об ужине» напишешь, прочту! И опять рывкнул.

— Федор Иванович! Побойся бога! И так не клевлет! — возмущались даже богобоязненные Васнецовы.

...Пронзительный гонг призывал рыболовов к обеду. Дома — сюрприз. Приехал скульптор Н. А. Андреев. Андреев — автор памятника Гоголю. В Абрамцево свисте полусотни портретов этого писателя (они и до сих пор уцелели в кабинете Аксакова в комнате Гоголя). Андреев сказал, что основной материал для памятника был получен здесь. Здесь же он изучал и репродукцию картины Репина «Гоголь сжигает вторую часть «Мертвых душ».

Помню, в течение всего обеда все художники деликатно, но решительно высказывались против постановки такого памятника на Арбатской площади. Только Врубель и Савва Иванович находили, что памятник хорош, родопичен, символичен и должен быть водружен.

— Мы памятник ставим не на один день. Не дошло сегодня, дойдет через десять

лет! Но в угоду неразвитости нашего народа преступно прятать под спуд такое исключительно талантливое произведение! — горячился Врубель. — Вот Савва Иванович, когда на Всероссийскую выставку в Нижнем Новгороде не приняли моих «Микулу Селяниновича» и «Принцессу Грезу», выстроил рядом со входом на выставку громадный павильон. Не хотите ли, чтобы и для андреевского «Гоголя» тоже особый павильон взбодрил! С надписью: «Слабо-нервным вход воспрещен» и «Дыми по пятницам...»

Савва Иванович засмеялся:

— Если понадобится для памятника павильон, я, конечно, сочту своим долгом поставить, потому что считаю его шедевром...

— Не шедевр, а «шедеуэра», — пробасил Шалыпин, который любил выговаривать французские слова, как они пишутся: «кокнак» (коньяк), «мемойры» (мемуары). — Если бы мне пришлось петь в опере «Гоголь» и я загримировался бы под андреевское чудовище и сел бы в такую позу, меня бы освистали!.. Вон Чехов так не мог простить Бразу за то, что он его сделал в общем похожим, но «словом только что сложный лакричный порошок проглотил...»

Свое мнение я высказал последним:

Место этой «шедеуэра»
Не у нас в Москве, а в Лувре.

Из воспоминаний Софьи Сергеевны Урановой, художницы, друга Надежды Алексеевны Пешковой и всей семьи А. М. Горького.

НАСТУПАЛ 1935 год. Однажды Надежда Алексеевна сообщила мне, что весной Алексей Максимович собирается за границу, в Париж,

где должен был состояться Международный конгресс писателей в защиту мира. Он хотел, чтобы и она, и Екатерина Павловна ехали тоже за границу, и, кроме того, он сказал ей, чтобы они взяли с собой и меня, что нам, художникам, необходимо изучать музеи Европы, великое классическое искусство, совершенствовать свои познания.

И вот я уже стояла у порога своей мечты: я увижу Италию!

Перед отъездом мы встретились с Алексеем Максимовичем, и он долго беседовал с нами — где, в каких городах побывать и что посмотреть.

— А Лувр мы вместе посмотрим, — говорил он нам.

В начале мая 1935 года мы с Екатериной Павловной и Надеждой Алексеевной Пешковыми выехали за границу.

Через Варшаву и Берлин, где мы задержались на два дня, для осмотра музеев, направились прямо в Париж. Здесь мы решили основательно ознакомиться с мировым искусством и ждать приезда Алексея Максимовича. Но вскоре было получено печальное для нас известие: здоровье Горького не позволило ему выехать за границу.

Мы пробыли в Париже более трех недель, изучая музеи. Здесь мы встретили и Алексея Николаевича Толстого, который уже приехал на конгресс с докладом. Иногда он присоединялся к нам в походах по городу. В обществе этого живого, умного, жадного до впечатлений человека было очень полезно обмениваться суждениями по поводу впервые открывшегося предомой великого мира искусства.



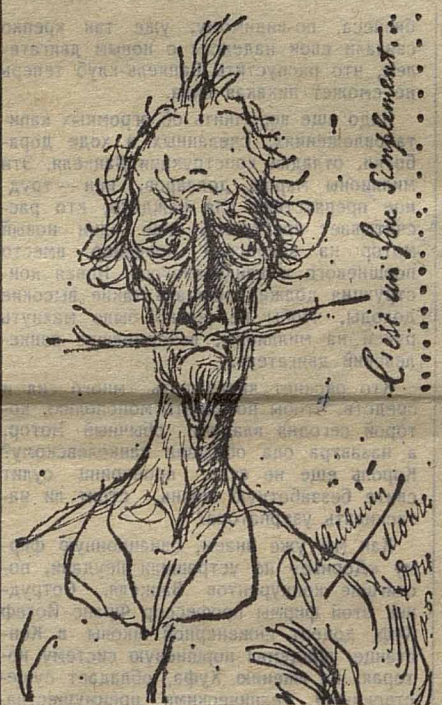
● Снимок, запечатлевший Ф. Шалаяпина на одной из художественных выставок в Бухаресте (1937 год), хранился у румынского художника-миниатюриста Георга Катарджи (на фотографии второй справа). Сам Катарджи был издавна связан с Россией — он учился в Петербургской академии художеств еще до первой мировой войны. Среди его учеников был и И. Е. Репин.

ДВА ДОН КИХОТА

«...Стоя у письменного стола, он водит карандашом по белому листу бумаги. Он то поправляет рисунок, то бросает карандаш и ходит большими шагами по комнате. Разговаривая с нами, он снова возвращается к столу и доделывает контур... Особенность его уборной состоит в том, что все стены в ней исписаны углем. Все это наброски типов, которые приходится изображать великому артисту. Вот дьявольский контур Мефистофеля, вот ассирийская борода Олоферна, вот нахмуренные брови Ивана Грозного. Каждый набросок сделан рукой Федора Ивановича, и, гримирясь перед спантлем, он все время поглядывает на стену...»

Так писал о Ф. И. Шалаяпине в 1911 го-

ду посетивший его корреспондент «Петербургской газеты». Шалаяпин обладал редкостным даром рисовальщика. И этот дар естественно и счастливо входил в его каждую новую сценическую работу. Готовя роль, он всегда прорисовывал ее будущий пластический образ на бумаге. Вот один из многих примеров. Работа Шалаяпина над ролью Дон Кихота может служить классическим образцом внутреннего видения артиста-художника. «О Дон Кихот Ламанчский, как он мил и дорог моему сердцу, как я его люблю!» — писал Шалаяпин Горькому в 1909 году. Готовясь к сценическому воплощению оперной партии, Шалаяпин предварительно воссоздавал всю роль, все ее состояние в серии рисунков, служивших ему своеобразной графической партитурой образа. Стоит взглянуть на карандашный набросок будущего Дон Кихота и фотографию, сделанную уже во время спантля, чтобы увидеть, насколько важными и определяющими были для Шалаяпина «пробы пера».



Когда в Лувре мы увидели статую Ники Самофракийской, мы вспомнили заветы Алексея Максимовича, который особенно восхищался этим гениальным творением и советовал внимательно его изучить. Трудно передать те глубокие, на

всю жизнь врезавшиеся в память впечатления, которые мы получили, изучая памятники и сокровища искусства в Париже. Здесь же произошла у нас встреча со старым другом Горького — Федором Ивановичем Шалаяпиным. Его сын Федор Федорович, узнав о нашем

Ни один писатель не был так близок и дорог Шалаяпину, как Горький. Их первая встреча произошла в 1900 году. Вскоре знакомство перешло в дружбу, а переписка, начатая в 1901 году, продолжалась почти тридцать лет. Горький познакомил певца со многими писателями и ввел его в литературный кружок «Среда». Шалаяпин горячо любил Горького и высоко ценил его талант. Он был одним из немногих людей, с которыми Горький был на «ты». В трудные минуты жизни Шалаяпин не раз обращался к Алексею Максимовичу за помощью и советом.

Публикуемое впервые письмо Ф. Шалаяпина Е. Пешковой хранится в архиве А. М. Горького. По-видимому, письмо написано перед поездкой на Капри в феврале 1913 года.

Дорогая Екатерина Павловна,

Приедем обязательно. Соскучился я ужасно по Максиму, да и вообще все, что приходится переживать в последнее время, до такой степени тяжело и утомительно, что я сильно нуждаюсь в небольшом хотя бы отдыхе, а всякий раз, когда я вижу моего дорогого Алексея, я так оживаю душой, что и передать этого не могу.

Хотя мы и живем сейчас в интересное время, однако все кругом осложнено и ненависть людская, как никогда, царствует.

● На снимке, сделанном фотографом императорских театров К. А. Фишером в 1912 году, Ф. И. Шалаяпин запечатлен во время работы над своим скульптурным портретом.

— Однажды, — вспоминал С. Коненков, — Шалаяпин сказал нам, художникам, что он рожден быть скульптором. Потом, размышляя над его словами, я решил, что Шалаяпин прав. Когда перед мной вставали образы Бориса Годунова, Грозного, Мефистофеля, Мельникова, Сусанина, Пимена, Олоферна, Сальери, Дон Кихота и многих других, я видел их именно изваянными. Нет сомнения, перед нами скульптор, каких еще не было.



ет в нашей жизни — кругом все страшно обесценено, на все плещется с размахом — однако рядом с этим чувствуется, что люди хотя чего-то хорошего, хотя за что-то уцепиться, а... не выходит — все чего-то нет и все что-то мешает. Вот и я — вижу много людей, слушаю, что они говорят, смотрю, что делают, и все это мне как будто чуждо — почти все это для меня непонятно — точно у одного нога как будто короче, у другого глаза кривые и т. д. И полного представления о человеке вполне здоровом — нет.

Сколько раз порывался написать Максиму, да признаться, трудно мне очень писать — не умею я этого, и делается мне вдруг как будто стыдно за себя, за свою неспособность изложить мысли на бумаге, ну и брошу — думаю, вот приеду на Капри — увижусь, так будет лучше, когда заговорю. И молчу, и молчу. Страшно рад я, несказанно, что могу приехать на Капри и провести хороших дней пятнадцать вместе, только я и Марья ни за что не согласимся стеснять Вас и останавливаться у Вас — это уж ни к чему. Мы прекрасно устроимся — как это было в прошлый раз — в гостинице, и будем с утра до ночи у Вас. Не нужно ли чего привезти? Напишите.

Крепко обнимаю большого и малого Максима, а Вам целую ручки.

До свидания.

Ф. Шалаяпин.

P.S. Там ли Пятницкий и увидите ли Вы — если да, то ему мой привет передайте.

В последнее время черт дернул меня заняться скульптурой — проба вышла довольно удачная, и я поэтому хочу попробовать слепить Максима, все нужное для этого, наверное, найду в Неаполе.

Ах, как я буду счастлив, если это мне удастся!!!

● В 1911 году Шалаяпин на Капри сделал карандашный рисунок Алексея Максимовича, который сейчас находится в музее А. М. Горького. Под рисунком — автограф певца: «Ф. Шалаяпин. Capri, 18/5 сентября 1911 г.»



приезде, разыскал нас и тотчас сообщил об этом отцу.

Через несколько дней Федор Иванович пригласил нас к себе на обед. Я в первый раз в жизни увидела Шалаяпина.

Когда на пороге гостиной появился этот легендарный богатырь — весь облик его показался мне ослепительным. Он принял своих старых друзей и земляков как желанных, дорогих гостей. Он глубоко сожалел, что не мог нам петь, так как недавно перенес операцию горла, но все же, проигрывая пластинку в собственном исполнении, нервно шагал по комнате и, заложив руки за спину, тихо подпевал сам себе.

Навсегда мне запомнился обед, который устроил Шалаяпин по случаю нашего приезда. За обедом он был так оживлен, так вдохновенно настроен, что без умолку рассказывал о себе. Блеск, остроумие, поразительная простота и в то же время глубокая артистичность его рассказа были неповторимы.

Запомнилось мне его особенное волнение, когда он начал говорить о своих выступлениях во Франции:

— ...И вот выхожу я на сцене где-нибудь в Бордо... Смотрю в темноту чужого зала и вдруг... (он с силой ударил кулаком по столу, так что вся посуда зазвенела)... и вдруг спрашиваю сам себя: «Почему я не в Казани? Почему я не в Нижнем!» — И снова удар по столу с той же бешеной силой. Было и больно, и страшно смотреть на него. На мгновение он опустил голову, но, овладев собой, снова перешел на спокойный, сдержанный тон.

Сын его Федор Федорович позднее

рассказывал нам, что у отца бывали сильные, мучительные припадки тоски по родине, и иногда ночью он часами ходил по переулку возле дома, думая только об одном — о России.

После обеда, желая, видимо, доставить нам настоящее удовольствие, он пригласил нас с собой в Версаль, где мы еще не были. Разместившись на его двух автомобилях, мы выехали из города и до заката солнца гуляли по парку Версаля. Велика была популярность Шалаяпина и среди простого народа: какой-то пожилой, бедно одетый французик, бегом догнав меня и указывая на Шалаяпина, идущего впереди с Екатериной Павловной, схватил меня за рукав и восторженно лепетал: «Шалаяпин! Шалаяпин!»

По возвращении в Москву не сразу удалось нам рассказать Горькому о наших впечатлениях. Наконец мы все-таки встретились. Это было в Горках. Горький был в хорошем расположении духа, слушал наши рассказы, часто перебивая и спрашивая: не забыли ли посмотреть то-то и побывать там-то.

Когда мы рассказали ему о Шалаяпине, о его тоске по России, Горький весь душевно встрепетал, будто что-то задело его за сердце, и стал вспоминать.

Он начал рассказывать о далеком прошлом, о Нижнем, Казани, о Нижегородской ярмарке. Он говорил страстно, весь отдавшись во власть воспоминаний.

Публикацию материалов, фотографий, рисунков подготовили А. ВИКТОРОВ, Н. ГОЛОВИЦКАЯ, С. ЗИМИНА, В. ЗЮЗИН, А. СИЗОНЕНКО.